

Н. А. Касавина

Грани русского самосознания: Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой

В статье предлагается понимание особенностей русского самосознания в контексте творчества Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого как признанных знатоков и выразителей русской культуры и духовности. Автор обращается к опыту интерпретации их произведений в литературе XX в., в частности, произведениям И. Бродского и В. Набокова, представляющим разные художественные традиции. Работы Ф. М. Достоевского рассматриваются в ракурсе амбивалентно-экзистенциалистского, персоналистического содержания самосознания, выраженного уникальными доступными психологическими и лингвистическими приемами. Произведения Л. Н. Толстого выступают в аспектах этического пафоса, вектора радикальной реконструкции личности в контексте правдолюбия, нравственности и любви.

Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, русское самосознание, национальное самосознание, художественная традиция, мимесис.

N. A. Kasavina

Facets of Russian Self-Consciousness: Feodor Dostoevsky and Leo Tolstoy

The article offers an insight into the features of Russian self-consciousness in the context of works by Feodor Dostoevsky and Leo Tolstoy as recognized experts and representatives of Russian culture and spirituality. The author refers to the experience of interpretation of their works in the literature of the 20-th century, in particular, works by I. Brodsky and V. Nabokov, representing different artistic traditions. Dostoevsky's works are considered from the perspective of ambivalent and existential, personalistic content of consciousness, which was expressed by means of unique psychological and linguistic techniques. Works by Leo Tolstoy appear with in ethical pathos, a vector of radical reconstruction of the personality in the context of the truth, morality and love.

Keywords: Feodor Dostoevsky, Leo Tolstoy, Russian identity, national identity, artistic tradition, mimesis.

М. Мамардашвили говорил, что роль философии в познании культуры состоит в *распутывании*. Он высказал это в отношении произведений М. Пруста. Только распутывание приводит к пониманию ситуаций его становления. Как отмечает Мамардашвили, и форма романа должна быть такой, чтобы участвовать в распутывании этого жизненного опыта. «Литература или текст есть не описание жизни, не просто что-то, что внешне (по отношению к самой жизни) является ее украшением; не нечто, чем мы занимаемся, – пишем ли, читаем ли на досуге, а есть часть того, как сложится или не сложится жизнь. Потому что опыт нужно распутать и для этого нужно иметь инструмент... Текст, то есть составление какой-то воображаемой структуры, является единственным средством распутывания опыта; когда мы начинаем что-то понимать в своей жизни, и она приобретает какой-то контур в зависимости от участия текста в ней» [7, с. 11].

Эти мысли связаны с признанием литературы, текста важнейшим процессом и результатом, способом понимания таких сложных и многогранных феноменов, как опыт и жизненный мир, которые, как и всякие естественные, стихийно

формирующиеся, эмерджентные явления, нелегко поддаются концептуализации. К таким феноменам относится и национальное самосознание.

Пруст пишет о литературе как о совершенно особом занятии в части познания душевной жизни и того, что происходит с человеком в этом мире. Мамардашвили особенно подчеркивает следующие слова Пруста: «Наше дело – литература... конечно, нас многие могут обвинить в том, что мы страдаем morbo litterario (болезненной страстью, болезненным графоманством, не знаю, как иначе это перевести), – нет, унижает нас плохая литература, а крупная литература всегда открывает нам неизвестную часть нашей души» [7, с. 37].

В этом смысле открытия «неизвестной части души», ее распутывания интересно обратиться к Ф. М. Достоевскому и Л. Н. Толстому – представителям «крупной литературы», ярким выразителям национального самосознания, его постижения и формирования. В общественном сознании, в области духовной культуры, укрепилась мысль, что оба писателя являются знатоками человеческой души и особенностей русского самосознания.

Самосознание не может быть монолитным, так или иначе, оно противоречиво. В. М. Межуев в своем выступлении подчеркнул, что национальная культура, в отличие от этнической культуры, есть многообразие авторских позиций¹. В сущности, это многообразие говорит о некоторой достигнутой степени зрелости национального самосознания. В связи с этим творчество Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого можно рассматривать как некую высокую точку в синтезе оснований русской культуры, русского человека, русского языка, явное начало которому положил А. С. Пушкин, задав прежде всего эстетическую доминанту представления о русской действительности, эстетический образец русского человека.

Примечательна речь Достоевского на открытии памятника А. С. Пушкину в Москве в 1880 г., суть которой состояла в признании поэта выражением русского национального духа с его всемирной отзывчивостью. В этой способности Достоевский увидел миссию русского народа. Речь имела особый успех. Следует отметить, что в то время противостояния Европы росту русского самосознания и могущества такой взгляд был весьма значительным.

По словам Ф. М. Достоевского, «способность эта (*то есть способность к отзывчивости – Н. К.*) есть всецело способность русская, национальная, и Пушкин только делит ее со всем народом нашим, и, как совершеннейший художник, он есть и совершеннейший выразитель этой способности... Народ же наш именно заключает в душе своей эту склонность к всемирной отзывчивости и к всепримирению... русская душа... гений народа русского, может быть, наиболее способны, из всех народов, вместить в себе идею всечеловеческого единения, братской любви, трезвого взгляда, прощающего враждебное, различающего и извиняющего несходное, снимающего противоречия» [4, с. 136–137].

В сопоставлении творчества Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого в контексте проблемы российского самосознания мне хотелось бы оттолкнуться от двух линий его интерпретации, во многом прояснивших различие двух художественных традиций. Я имею в виду работы о русской литературе Иосифа Бродского («Катастрофы в воздухе») и Владимира Набокова («Лекции по русской литературе»), каждый из которых писал их, чтобы познакомить зарубежную аудиторию с классикой русской литературы.

Ф. М. Достоевскому И. Бродский отводит совершенно особое, исключительное место в русской прозе. Анализируя ситуацию в русской литературе XX в., Бродский с характерной для него катастрофичностью констатирует, что за сравнительно небольшой период литература скатилась от Достоевского до Бубеннова, Павленко и, в сущности, в русской прозе в XX в. нет больше подобных имен, за исключением, может быть, одного имени.

Почему это случилось? Как полагает Бродский, на путь соцреализма русскую литературу толкнуло не только государство; у литературы были внутренние причины для такого пути, а именно, выбор между двумя «титанами»: Достоевским с его метафизическими исканиями и Толстым с его даром реалистического воспроизведения жизни.

Бродский полагает, что «в каком-то смысле Толстой был неизбежен, потому что Достоевский был неповторим». За Достоевским идти было трудно, поскольку это гениальный писатель с совершенно гениальным языком. Толстой же, реализующий в литературе принцип мимесиса, оказался более доступным, и русская проза, за несколькими исключениями, «пошла вниз по извилистой истоптанной тропе миметического письма и через несколько ступеней... скатилась в яму социалистического реализма» [2, с. 194–195].

Конечно, очевидна субъективность этого тезиса Бродского. Мы не можем считать Толстого причиной всего последующего состояния литературы XX в., равно как и не можем отрицать влияния Достоевского. В данном случае любопытно другое. Развивая и обосновывая эту свою мысль, Бродский дает развернутую характеристику творческого своеобразия Достоевского, делая главный акцент на особенностях его языка. «Во многих отношениях Достоевский был первым нашим писателем, доверявшим интуиции языка больше, чем своей собственной... И язык отплатил ему сторицей... Другими словами, он обращался с языком не столько как романист, сколько как поэт или как библейский пророк, требующий от аудитории не подражания, а обращения... Его искусство... не подражало действительности, оно ее создавало... Как библейские притчи, его романы – проводники, ведущие к ответу, а не самоцель» [2, с. 195–196].

Здесь значимы две мысли: первая – о первоначальности языка в творчестве (и судьбе) поэта или писателя и вторая – об их пророческом, проактивном даре. Когда-то Бродского потрясло од-

но стихотворение, а точнее, некоторые строки из стихотворения Уистана Одена:

Время, которое нетерпимо
К храбрости и невинности
И быстро остывает
К физической красоте,
Боготворит язык и прощает
Всех, кем он жив;
Прощает трусость, тщеславие,
Венчает их головы лавром.

«Я помню, как я сидел в маленькой избе, глядя через квадратное, размером с иллюминатор, окно на мокрую, топкую дорогу..., наполовину веря тому, что я только что прочел, наполовину сомневаясь, не сыграло ли со мной шутку мое знание языка. У меня там был здоровенный кирпич англо-русского словаря, и я снова и снова листал его, проверяя каждое слово, каждый оттенок, надеясь, что он сможет избавить меня от того смысла, который взирал на меня со страницы. Полагаю, я просто отказывался верить, что еще в 1939 г. английский поэт сказал: “Время... боготворит язык”, – и тем не менее мир вокруг остался прежним» [3].

Бродского поразила образ, говорящий о том, что время (вообще, а не конкретное время) боготворит язык, и ход мыслей, которому это утверждение дало толчок. Если время боготворит язык, значит язык больше, или старше, чем время, которое старше и больше пространства. «Я почувствовал, что имею дело с новым метафизическим поэтом, поэтом необычайного лирического дарования, маскирующимся под наблюдателя общественных нравов. И я подозревал, что этот выбор маски, выбор этого языка был меньше обусловлен вопросами стиля и традиции, чем личным смирением, налагаемым на него не столько определенной верой, сколько его чувством природы языка» [3].

Толстой для Бродского косвенно выступает тем самым «наблюдателем общественных нравов». Здесь важно заметить, что это не умаляет значимости произведений Толстого, а скорее высвечивает тот факт, что Толстой сделал иной художественный вклад в отражение особенностей жизни человека в конкретный исторический период. Достоевский же смог передать тончайшие оттенки природы языка представителей самых разных социальных слоев России через смелый, оглушительный язык открыть мироощущение русского человека, да и человека вообще, передать движение самой жизни.

Бродский называет в русской литературе XX в. лишь одного писателя, который по качеству языка сопоставим с Достоевским, – Андрея Платонова, которого очень осторожно именует последователем Достоевского, подразумевая, что, если говорить строго, у такого рода гениев слова учеников быть не может.

Как быть в свете этих размышлений с Толстым и языком Толстого?

Пожалуй, в его произведениях язык отступает на второй план, уступая строю мыслей самого Л. Н. Толстого, который прежде всего передает нравственный облик русского человека и его жизненную позицию. В. Набоков, придерживаясь другой точки зрения на творчество писателя, отмечал: «Удивительное в стиле Толстого то, что какие бы сравнения, уподобления или метафоры он ни употреблял, большинство из них служит этическим, а не эстетическим целям» [8, с. 282].

В произведениях Толстого отражены самые разные характеры русской действительности, национального поведения (Безухов, Каратаев, Болконский, Левин, Нехлюдов, Позднышев и т. д.). Но если приглядеться к языку, то это всегда язык Толстого (поскольку Каратаев так говорить не может). Здесь можно привести много примеров. В романе «Анна Каренина» Левин – персонаж, через которого Толстой вписывает в произведение свои рассуждения о политике, о морали, о положении крестьянства, но самих крестьян мы практически не видим, они не говорят. Мы не слышим Герасима в произведении «Смерть Ивана Ильича», мы видим его только через восприятие самого Ивана Ильича. Душевные переживания Герасима нам недоступны.

В то же время, читая Достоевского, забываешь о самом Достоевском и растворяешься в его героях и в их языке. У Достоевского герои живут полной жизнью. Может быть, здесь проявляется наложение таланта и многообразного социального опыта Достоевского, с одной стороны, вращающегося в интеллектуальной среде, с другой – прошедшего каторгу и нищету.

Вот, например, как понимал противостояние Достоевского Толстому Вяч. Иванов: «Толстой поставил себя зеркалом перед миром, и все, что входит в зеркало, входит в него: так хочет он наполниться миром, взять его в себя, сделать его своим посредством осознания и, в сознании преодолев, отдать людям и самый мир, через него прошедший, и то, чему он научился при его прохождении, – нормы отношения к миру» [6, с. 293]. Иной путь Достоевского. «Он весь

устремлен не к тому, чтобы вобрать в себя окружающую его данность мира и жизни, но к тому, чтобы, выходя из себя, проникать и входить в окружающие его лики жизни; ему нужно не наполниться, а потеряться...» [6, с. 293]. И в положительном смысле он «теряется» в жизни и языке, спонтанно, творчески воспроизводя их стихийный характер.

И Платонову вовсе не нужно на нескольких страницах художественного произведения излагать свои воззрения на положение крестьян. Если Толстому нужно несколько страниц, то Платонову достаточно нескольких предложений или слов, чтобы потрясти читателя и чтобы эти дополнительные страницы сами появились в его голове. В такого рода проективном влиянии на общественное сознание Бродский усматривал и величие Достоевского.

Совершенно иной точки зрения придерживается Владимир Набоков, характеризуя развитие русской литературы и не отводя Достоевскому в ней видного места. Это место занимают Пушкин, Гоголь, Чехов, Толстой.

Набоков пишет о чувстве неловкости в отношении Достоевского, считая его писателем не великим, а довольно посредственным, «со вспышками непревзойденного юмора, которые, увы, чередуются с длинными пустошами литературных банальностей» [8, с. 176].

Более того, Бродский и Набоков придерживаются противоположных взглядов на некоторые особенности творчества писателей, обнаруживая различие и собственных подходов.

Если для Набокова тяга Достоевского к искусственным обстоятельствам есть минус, признак «нереализма», то для Бродского это вызов, осуществление проекта человека, внутриличностное напряжение к самореализации. Сам Достоевский в свое время говорил о твердом, издавна сложившемся строе жизни в толстовском изображении и о духовном хаосе в изображении собственном. Видимо, здесь мы имеем дело с особым, дионисийским пафосом художника и его «нереальным человеком», по выражению Н. А. Бердяева, так не похожим на толстовских «вырванных из жизни реальных людей в плоти и крови».

Набоков укоряет Достоевского в том, что все его романы, почти без исключения, имеют дело с людьми в стесненных обстоятельствах, более того – больными людьми. Достоевский именуется создателем галереи неврастеников и душевно больных, который изображает психологическое и

моральное уродство и наслаждается этим, унижая человеческое достоинство [8, с. 188].

Следует отметить, что это весьма распространенный укор в адрес Достоевского и распространенная точка зрения, согласно которой творчество Л. Толстого является жизнеутверждающим, а творчество Достоевского – болезненным и дисгармоничным. В частности, И. Анненский характеризует Достоевского как сновидца и мученика, эпилептика, до которого действительность доходит лишь болезненно-острыми уколами. «Если он берет на себя грехи мира, этот пророк, то все не потому, чтобы этого хотел или чтобы ему так жаль было этого скорбного человечества, а лишь потому, что не может не бремениться его муками, как не может обращенная к солнцу луна не вбирать в себя солнечных лучей» [1].

Вместе с тем «больной человек» для классики оказывается «нормальной» личностью для Фрейда и некоторых представителей экзистенциальной философии (с ее переживаниями одиночества, страха, трепета и др.) – нормой, которую Достоевский предугадал. Он, пожалуй, описывает обычного человека во всей совокупности его переживаний, лишь обостряя те или иные черты, переживания и неспособность личности их выразить.

Достоевский действительно дал «подпольного человека» с его разновидностями, «ужасаясь и прикрываясь такими идеалами, как князь Мышкин и Алеша Карамазов» [8, с. 319–322].

Набоков намекает на искусственность этих положительных образов. Получается, что если у Толстого «не живет» Платон Каратаев, а лишь Толстой говорит за него, то, согласно Набокову, у Достоевского «не живут» положительные герои и люди высшего общества, такие как князь Мышкин, являясь просто схемой и пародией?

Этот момент свидетельствует о многом. Достоевский и Толстой целенаправленно выражают и даже конструируют самосознание разных социальных групп. Они описывают и проектируют разные образы человека: находящегося в плену собственной природы и возвышающегося над ней; фатально определяемого обстоятельствами и восстающего именно против них.

У Достоевского преобладают служащие, материально и психологически находящиеся в сложных обстоятельствах, но преодолевающие их и возвышающиеся над ними. Так, в романах «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные» эти действительно бедные люди обнаруживают несравненно более высокие человеческие каче-

ства и большую свободу от обстоятельств, чем богатый князь, унижающий и оскорбляющий когда-то любивших его людей.

Толстой – художник аристократического эгоизма, и его человек мучается другими проблемами, происходящими скорее от избытка, чем от недостатка. Таков Левин, размышляющий над вопросом, отдать или не отдать имение; Иван Ильич, прозревший, что из-за светских удовольствий и светского, пустого образа жизни упустил в ней нечто главное.

Однако и Достоевский, и Толстой по-разному выводят человека в пограничные ситуации, на пределы его бытия, тем самым показывая ключевые, экзистенциальные особенности его существования – существования в мире вообще и в России в частности. Они оба действительно остро переживали трагедию человеческого существования.

Достоевский задал полюс амбивалентно-экзистенциалистского, персоналистического содержания самосознания и выразил его психологическими и лингвистическими приемами, доступными литератору. Толстой же придал ему целевой этический пафос и довел человека до состояния максимального, едва ли не трансцендентального отрицания наличной действительности, указав вектор ее радикальной переделки по лекалам бескомпромиссного правдолюбия и правдоискательства, нравственности и любви.

Библиографический список

1. Анненский, И. Ф. Достоевский [Электронный ресурс] / И. Ф. Анненский // Анненский И. Ф. Избранное. – М. : Правда, 1987. – Режим доступа: http://www.booksite.ru/fulltext/dos/toj/evs/kii/dostojevski_i_f/sbor_stat/14.htm Дата обращения: 07.06.2016
2. Бродский, И. А. Катастрофы в воздухе. Эссе [Текст] / И. А. Бродский // Бродский И. А. Поклониться тени : эссе. – СПб. : Азбука, 2006. – 320 с.
3. Бродский, И. А. Поклониться тени. Эссе [Электронный ресурс] / И. А. Бродский. – Режим доступа: <http://brodsky.ouc.ru/poklonitsya-teni.html>. Дата обращения: 07.06.2016
4. Достоевский, Ф. М. Полн. собр. соч. [Текст] / Ф. М. Достоевский ; в 30 т. – Л. : Наука, 1972–1990. – Т. 26.
5. Достоевский, Ф. М. Собрание сочинений [Текст] / Ф. М. Достоевский ; в 10 томах. – М. : Художественная литература, 2005. – Т. 9.

6. Иванов Вяч. Достоевский и роман-трагедия [Текст] / Вяч. Иванов // О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881–1931 гг. – М. : Книга, 1990. – 432 с.

7. Мамардашвили, М. К. Психологическая топология пути [Текст] / М. К. Мамардашвили. – СПб. : Русский Христианский гуманитарный институт, 1997. – 571 с.

8. Набоков, В. В. Лекции по русской литературе [Текст] / В. В. Набоков. – М. : Независимая газета, 1996. – 440 с.

Bibliograficheskij spisok

1. Annenskij, I. F. Dostoevskij [Elektronnyj resurs] / I. F. Annenskij // Annenskij I. F. Izbrannoe. – М. : Pravda, 1987. – Rezhim dostupa: http://www.booksite.ru/fulltext/dos/toj/evs/kii/dostojevski_i_f/sbor_stat/14.htm Data obrashhenija: 07.06.2016
2. Brodskij, I. A. Katastrofy v vozduhe. Jesse [Tekst] / I. A. Brodskij // Brodskij I. A. Poklonit'sja teni : jesse. – SPb. : Azbuka, 2006. – 320 s.
3. Brodskij, I. A. Poklonit'sja teni. Jesse [Elektronnyj resurs] / I. A. Brodskij. – Rezhim dostupa: <http://brodsky.ouc.ru/poklonitsya-teni.html>. Data obrashhenija: 07.06.2016
4. Dostoevskij, F. M. Poln. sobr. soch. [Tekst] / F. M. Dostoevskij ; v 30 t. – L. : Nauka, 1972–1990. – T. 26.
5. Dostoevskij, F. M. Sbranie sochinenij [Tekst] / F. M. Dostoevskij ; v 10 tomah. – М. : Hudozhestvennaja literatura, 2005. – T. 9.
6. Ivanov Vjach. Dostoevskij i roman-tragedija [Tekst] / Vjach. Ivanov // O Dostoevskom. Tvorchestvo Dostoevskogo v russkoj mysli 1881–1931 gg. – М. : Kniga, 1990. – 432 s.
7. Mamardashvili, M. K. Psihologicheskaja topologija puti [Tekst] / M. K. Mamardashvili. – SPb. : Russkij Hristianskij gumanitarnyj institut, 1997. – 571 s.
8. Nabokov, V. V. Lekcii po russkoj literature [Tekst] / V. V. Nabokov. – М. : Nezavisimaja gazeta, 1996. – 440 s.

¹ Доклад В. М. Межуева «Культура как объект государственной политики» на пленарном заседании XIII Всероссийской конференции «Проблемы российского самосознания: политика и культура», Институт философии РАН, 26 мая 2016 г.

² Любопытно вспомнить, что С. Н. Булгаков, сопоставляя образы старчества в произведениях Достоевского и Толстого, обращает внимание на действительно подлинные черты старца Зосимы. Настоящий старец – таков! Отец Сергей Толстого – искаженный образ, черты которого лишь подчинены задачам Толстого, но подлинного феномена не проясняют.